

# Иосиф Бродский. Прощание.

**Эмма  
ТОПОЛЬ,**  
Нью-Йорк

Последние два месяца Бродский себя чувствовал неважно, трудно дышал, быстро уставал, почти не выходил из дому, друзья в основном приходили к нему.

В субботу вечером у него тоже были приятели-американцы. Наутро, в воскресенье, 28 января, Бродский собирался уезжать в Массачусетс в университет, где с понедельника начинается новый семестр, читает лекции по русской литературе. Засиделись. Жена около часу ночи ушла спать, а Бродский остался с гостями.

Утром жена не смогла открыть его кабинет, он лежал прямо у двери. Вероятно, ему стало плохо, и он упал. По нью-йоркскому радио сообщили: «Сегодня в Бруклине во сне умер русский поэт, нобелевский лауреат Иосиф Бродский...»

Из Санкт-Петербурга позвонил мэр Анатолий Собчак и предложил похоронить поэта рядом с родителями. Но друзья говорят, что из всех мест на земле Бродский больше всего любил Италию, может быть, его прах перенесут туда. Окончательное решение принадлежит его жене Марии...

**Петр  
ВАЙЛЬ,**  
Прага

Надо попробовать отрешиться от того, что принято называть личным. От той близости к Иосифу, которую мне послала судьба в последние годы. Иначе останется одно горестное бормотание о потере человека, который значил для тебя так много, которого ты искренне и преданно любил — даже если бы он не писал гениальных стихов. Это так: не думаю, чтоб я встречал в жизни человека такой щедрости, тонкости, внимательной заботы. Не говоря о том, что беседа с Бродским — даже простая болтовня, обмен каламбурами или анекдотами — всегда была наслаждением, потому что в остатке непременно оседала острая и обязательно небанальная мысль. Последний раз мы говорили по телефону в пятницу, за два дня до, и Иосиф сказал об ужесточении курса российской верховушки: «Я думаю, им этот сдвиг дается легко, потому что в таких случаях человек ведь не напрягается, а расслабляется».

Надо отодвинуть все это, чтобы сказать о главном — что произошло в нашей словесности со смертью Иосифа Бродского. Коротко говоря, произошла трагедия, оставившая колоссальное зияние, пустоту. Бродский при жизни стал классиком двух литератур, но с русской — ситуацией особой, которой не было никогда: не было столь гигантского разрыва между первым — и вторыми, третьими, сто пятидесятыми.

Как всякое выдающееся явление, Бродский рассмотрен со всех мыслимых сторон, и у него найдено множество недостатков, но любой разговор о нашей современной словесности начинается и заканчивается его именем; притяжением или отталкиванием, но всегда к нему. Бродский — зеркало, в которое смотрятся наша поэзия да и проза тоже. И вот зеркало завешено черным.

Понятно, что поэт умер, но стихи остались. Однако новых уже не будет. А Бродский все время писал. Последний раз восемь стихотворений я получил от него по факсу в четверг, там есть строки: «Я знаю, что говорю, сбывая из букв когорту, чтобы в каре веков вклинилась их свинья! И мрамор сужает мою аорту».

«Последняя строчка — довольно точное описание того, что со мной происходит», — сказал Иосиф.

Можно ли напечатать это полностью — теперь надо спрашивать вдову. Страшно называть так Марию. Еще страшнее назвать сиротой Анну, Ницу, которой в шоне исполнится три года и которая успела принести так много счастья отцу.

**Елена  
ЯКОВИЧ,  
Алексей  
ШИШОВ**  
Москва

В августе девяносто четвертого на телеэкране появился двухсерийный фильм «Прогулки с Бродским». Снимался он в Венеции в октяб্রে девяносто третьего. Его авторы — Елена Якович, Алексей Шишов и Евгений Рейн. Это был первый фильм с Бродским, снятый для России.

Он же стал и его последним фильмом.

\*\*\*  
«Я не удивлюсь, если к концу этого мероприятия камера окажется на дне канала», — сказал Иосиф Александрович. Сказал — и, как всегда, напророчил. Оператор, увлекшись, окупил камеру в венецианскую «водичку» (любимое слово Бродского), и она вышла из строя. Слава Богу, в последний день съемок. Но Бродский как-то по-детски обиделся, что недодаст нам своего любимого города. «Если бы вы только знали, как я счастлив наконец показывать Венецию русским!»

Капельки водички на объективе хорошо видны на последних кадрах пленки, как слезы. Эти кадры вошли в фильм — там Бродский плывет на катере по неназванной Венеции и рукой задевает мосты, и лицо у него счастливое, а еще он сосет валидол, потому что болит сердце. А Рейн за кадром читает стихи, написанные пару дней назад:

«Что впереди? а там — Сан-Марко, что крематорий, зачернен.  
Плыви, мне ничего не жалко, — так, вероятно, начал он. — Живи теперь до самой смерти. Причали к Пьяцетте поутру. Меня же задерживать не смейте, я через восемь лет умру».

Евгений Борисович Рейн, ради встречи с которым Бродский и приехал в Венецию, писал в те дни стихи — запойно, на клочках бумаги, постоянно подыскивая рифмы и читая их вслух, пугая даже темпераментных итальянцев. «Чем недоволен этот русский?» — озабоченно спрашивал хозяин ресторана. «Все в порядке. Просто он поэт», — отвечали мы.

Мы приехали на пару дней раньше, и до последнего не знали, придет ли он, и жутко волновались. И первый раз встретились с ним случайно, на Сан-Марко. Они с Рейном вышли из кафе «Флориан» прямо на нас, и лица у них были какие-то мальчишеские, заговорщицкие, как у очень близких людей, которые давно не виделись и говорят на своем, лишь им понятном языке. Только у Рейна лицо было счастливое и растерянное, а у Бродского счастливое и уверенное. А потом они повернулись к нам спиной и пошли по балюстраде. У Бродского спина была незащищенная, а у Рейна уверенная, как у старшего...

Отчаянные одногодки  
Отчаливаем мы в залив  
Гребем навстречу нашим судьбам...

Тогда они виделись в последний раз. «Мы должны на каждого человека обращать внимание, потому что мы все в совершенно чудовищной ситуации, где бы мы ни находились; уже хотя бы потому в чудовищной ситуации, что мы знаем, чем все это кончается — мы умираем. И что меня поражает совершенно в возлюбленном отечестве, что люди, которых я знал, или которых я не знал, но которые принадлежат к тому же примерно классу образованных, ведут себя так, как будто они ничему никогда не научились, как будто им никто никогда не говорил, что нужно



В советской ссылке

понимать и любить всех, то есть каждого», — как больно звучат сегодня эти слова Бродского с экрана. «Возлюбленное отечество», «родной город» — иначе он не говорил о России и Питере. На все вопросы, придет ли, отвечал: «Ну разве что инкогнито». И на провокационное: «Сознайтесь, ведь уже были», — сказал вдруг очень серьезно: «У нас был однажды с Барышиновым план, как из Швеции на пароме на два дня, чтобы никто не заметил. Да что-то с расписанием не вышло».

Он очень хотел снять еще один фильм — или даже серию — для России о великих поэтах XX века: Фросте, Одене, Элиоте и Йетсе, особенно о первых двух. Съемки должны были состояться в мае.

**Дмитрий  
РАДЫШЕВСКИЙ**  
Нью-Йорк

Он почти точно назвал год своей смерти: «век скоро кончится, но раньше кончусь я...»

По сути все его творчество было письмом не из Нового Света, а со Света Того, и в строках о его смерти надо пройти через этапы познания «небытия», как он любил выражаться, самим Бродским.

Сначала — плач.  
Умер последний великий русский поэт, поднявший отечественную изящную словесность от «глуповатости», предписанной Пушкиным, до интеллектуального предела. Перестал звучать безукоризненный нравственный камертон (и нежелание Бродского съездить или вернуться в Россию было манифестацией идеального вкуса: «никогда не хотел въехать на белом коне... чье ржание теперь только и слышится», как говорил он). Предстал пред Богом стойкий Иов (любимая книга Библии у Бродского), ни разу ни в чем не урекнувшийся инструменты судьбы: будь то КГБ, коммунисты, безденежье или болезни...

Потом — осознание закономерности утраты.

Ушел с Земли ведический мудрец, учивший последним истинам: освобожденности от надежд, тревог и желаний, приятно всего и сочувствию всему (в частных беседах Бродский выводил свою интеллектуальную генеалогию из «Шримад Бхагаватам»), ушел, чтобы напрямую вести «Разговор с Небожителем». Великий мастер, считавший искусство умением «отстраниться, взять век в кавычки», дошел до логического предела своего приема, взяв в кавычки собственную жизнь. Поэт, которого центробежная сила языка уводила в каждом стихотворении все дальше от изначально, земного предмета (предлога) стиха, в результате ушел с земной орбиты (мало кому известно, что Бродский был влюблен в авиацию, окончил в США авиационную школу, получил лицензию пилота и летал на спортивных самолетах). Отважный испытатель человеческого одиночества («но даже

мысль о — как его! — бессмертии, есть мысль об одиночестве, мой друг») завершил свой эксперимент, установив, что смерть — абсолютная покинность — есть единение со Вселенной. Знаменитый борец не за «вашу и нашу», а за собственную свободу — свободу частного человека, которого нельзя испугать, вовлечь в общее дело, купить или продать, осчастливить или разлюбить, по той причине, что он и ч е г о не желает, ибо понял, что сам есть часть Всего. Великий Беглец, называвший: «...теряя очертания, недосыпаем для бинокля, воспоминаний,

жандарма или рубля») и сам ускользавший от всего материального: государства, человеческих связей, наконец, языка дошел до последнего освобождения — от оков тела.

Туняец, которого наше общество исключило из своих рядов, исключил сам себя из всех остальных обществ — общее (а что более разделяемо всеми, чем жизнь) всегда было ему чуждо. «Бывало, пишешь стишки в Ленинграде, — рассказывал он о своем отъезде, — потом выходишь на улицу: все кругом как иностранцы... Было только естественно, чтобы вокруг стали настоящие иностранцы, да? Но люди в целом были для него иностранцами: они были из страны души — мира чувств, мира ненависти и обожания (что равно были для него дурновкушем), инстинктивного мира, недалеко ушедшего от животного, в то время как Бродский был из страны духа — разреженной, холодной и ясной страны, как воздух в «Осеннем Крике Ястреба».

Последнее — осознание отступившей утраты.

В самом деле: для кого произошла эта утрата? По-настоящему только для его семьи, жены и дочери. Другим он помогал, был с ними ласков и заботлив, но особенно близко к себе, кажется, никого не подпускал. Да если и подпускал — друзья оплачивали и утешались. Гуляя по Нью-Йорку, Бродский рассказывал: «Когда я приехал сюда, я сказал себе: Дюжозеф, чтобы не было никакой «моветочки»: ах, где моя Родина, ах, я осиротел. Веди себя так, будто ничего не произошло».

Поэтому хочется и самому избавиться от этого «дурного тона»: ах, не стало у нас великого поэта. Для нас ничего не изменилось: он всегда с нами — читайте Бродского, «если вам любопытно со мной общаться», как говорил он сам. В ночь на 28 января событие произошло только в личной судьбе Иосифа Александровича, обособленности которой от «истории русской словесности» он всегда отстаивал. Всю жизнь он репетировал в стихах это событие: переход от презираемого им пространства к боготворимому им времени (то есть вечности) и, наконец, совершил его. При жизни никому было не угнаться за Бродским в этих стихах-репетициях. Теперь и подавно.

**Евгений  
РЕЙН**  
Москва

Было бы так легко вспомнить, если бы не хронология. В ней какая-то дьявольская путаница, чья-то ухмылка, поди отличи 1966 год от 1967-го, или что-нибудь в этом роде. Есть, конечно, исключения, какой-нибудь 1953-й или, скажем, 1941-й — ни с чем не перепутаешь.

Так вот именно в этих неотличимых друг от друга 1966 — 1967 годах мы вдвоем сидели в Летнем саду, на берегу Картиева пруда, лицом к Михайловскому замку.

Месяц (или, вернее, пленэр, погоду) вспомнить гораздо проще — ведь

они действительно были. И был sereneкий с голубиной, уже вполне весенний балтийский день, с ветром и нахмуренными тучками (статии, почти всегда тучки эти благородно разбегаются, и часам к четырем дня светло и солнечно). Такие дни для меня — из самых милых.

Так вот, мы сидели на скамейке, как всегда, покуривали, считали сколько осталось сигарет в пачке «Кэмела». В сумке у меня лежал выпрошенный накануне многогодичной давности номер «Лайфа», а там был один интересный фоторепортажик. Вместе стали перелистывать журнал. Вот он, — страничек 5 или 6, — «Венеция зимой». Все очень красиво, как и полагается в «Лайфе».

Тут важно только как Иосиф смотрел на эти гондолы под снегопадом, обшарпанные палаццо за сеткой холодного дождя, снежный колпачок на фонаре, белые кляксы на капоте допотопной «феррари».

Я вдруг почувствовал, что все это произвело на него большее впечатление, чем мной предполагалось. Ток прошел чуть сильнее, и некий предохранитель перегорел. «Я это увижу», — сказал Иосиф. — Запомни, что я сказал сейчас. Я буду в Венеции зимой...»

Так все и случилось. Была ссылка, был отъезд, был Нью-Йорк, была Нобелевская премия, была Венеция зимой. Рисунок его судьбы вычерчен по такому четкому и сильному лекалу, что линии нигде не кружат, не юлят, не обрываются.

Когда-то я видел книгу. Называлась она «Антология петербургской поэзии эпохи акмеизма». Два века петербургской поэзии (считая все-таки от Державина, с его гениальным видением Мурзы) образовали единство в своем роде, замечательно слитно, как бы непрерывно законно наследственное, где звено входит в звено, а образ — в образ, говоря словами такого не петербургского Пастернака:

Державин... Батюшков... Пушкин... Боратынский... Вяземский... Лермонтов... Некрасов... Аполлон Григорьев. И вот уже последняя прямая — Анненский, Зинаида Гиппиус, граф Василий Комаровский, Блок, Белый, Мандельштам, Гумилев, Ахматова. Бродский, быть может, последнее звено этой петербургской цепи. По естественному праву поэта, который берет свое добро там, где оно лежит, он может повторить за Константином Вагиновым:

Мне вручены цветущий финский берег  
И римский воздух северной страны.

Пушкинисты долго спорили — кончается ли Пушкиным длительный путь барокко и сентиментализма, видел ли в этих драгоценных метлах хвост XVIII века или Пушкин — начало и предтеча всего грядущего. Я сам не знаю ответа.

А Бродский — в этой петербургской цепи — начало ли он того конца, которым заканчивается начало? Кончилась ли цепь петербургской поэзии? Сейчас это сказать невозможно. Слишком замечательно то, что сделал Бродский, слишком трудно найти почву для следующего шага.

И мне остается лишь обращаться к навесда разлученному со мной другу, и возможно надеяться на встречу уже не здесь.

...Все уехали. Даже и я (что неважно), Никуда не прибудешь, ничего не изменишь.

Только в темном дворе окликаешь протяжно  
И эрозия незнакомке, что до нитки разденешь.

А она-то согласна, но медлит чего-то — Все пустое, как окна при вечном ремонте. Будет срок — и повесят на доску почета, Или даже утопят в зачуханном Понте. Но когда я иду на Васильевский остров, И гляжу, как задымлено невоское небо, Я все тот же, все тот же огромный подросток,

С перепутанной манией дела и гнева. Объявляю себя военнопленным, Припаду к сапогам своего конюя, Чтобы вечером обыкновеннолетним Одному за всех поминать былое.